

A woman wearing a grey knit hat with a pom-pom, glasses, and a colorful patterned scarf is holding a slice of orange. In the foreground, a large round cake is topped with many slices of orange. The background is filled with more oranges and a Christmas tree with gold and white ornaments.

Саша Игин

Жареный (Кукуша #2)

Саша Игин
Жареный (Кукуша #2)

«Автор»

2026

Игин С.

Жареный (Кукуша #2) / С. Игин — «Автор», 2026

У Кукуши кончились мандарины, сгорела гирлянда, а Круги всеобщего единения съёжились до трёх человек. Но она не унывает: у неё есть философия, Хайдеггер и вера в то, что счастье можно испечь. Узнав о дне рождения бабы Зины, Кукуша решает устроить сюрприз — испечь пирог собственноручно. Проблема лишь в том, что печь она не умеет, денег нет, а на дворе февраль, и мандаринов не достать. В супермаркете она встречает филолога Павла — племянника сварливого Валерия Степановича. Тот вызывается помочь. Но ни философские теории, ни филологическое терпение не спасают пирог от пожара и общежитскую кухню — от сигнализации. Кукуша в отчаянии: подарок уничтожен, тётя Люба грозит выселением, а перед бабой Зиной стыдно. Но, как выясняется, настоящий подарок — не в пироге. А в том, что люди собираются вместе. Даже если всё идёт не по плану. Даже если пахнет гарью. «Жареный» — история о кулинарном крахе, и о том, что счастье иногда приходит в самом неподходящем виде. Например, в виде чёрного пирога.

© Игин С., 2026

© Автор, 2026

Саша Игин

Жареный (Кукуша #2)

Пролог, в котором мандарины кончились, а любовь (кажется) нет

После того памятного воскресенья, когда во дворе случился первый Круг, прошло две недели. Две недели, наполненные мандариновым ароматом, философскими спорами с бабой Зиной о смысле бытия (баба Зина утверждала, что смысл бытия — в пирожках с капустой, и это было трудно оспорить) и тихой радостью от того, что соседи перестали хлопать дверями друг перед другом.

Мандарины кончились на третий день — Кукуша раздала их всем: бабе Зине (полкило, та пересыпала их в хрустальную вазу, которую доставала только по большим праздникам), дяде Грише (три штуки, он съел два, а третий положил в бардачок «на счастье», и с тех пор каждое утро проверял, не испортился ли мандарин, — не испортился, лежал как заговорённый), Валерию Степановичу (целый килограмм — он делал вид, что не рад, но съел всё за вечер, а кожуру почему-то высушил на батарее и потом нюхал, когда никто не видел), Лене с Артёмом (ребёнок вымазался в мандариновом соке с ног до головы, и потом Лена три часа оттирала его в ванной, но улыбалась при этом), девочкам-студенткам Ане и Кате (они съели мандарины под мангу и гитарные аккорды, и, как потом призналась Катя, «это был лучший вечер на практике, потому что хоть что-то сладкое»), даже дворнику дяде Вите — он сказал: «Мандарины — это хорошо, но водка лучше, потому что водка греет изнутри, а мандарины только изнутри и снаружи одновременно, но водка — это философия, достойная мужчины». Кукуша не стала с ним спорить — дядя Витя был пьяницей, но пьяницей с чувством стиля.

И конечно, кошке Рыжей. Рыжая только понюхала мандарин, фыркнула и ушла в угол обиженно трясая хвостом — кошки не едят цитрусовые, и Рыжая считала, что её оскорбили, предложив такую гадость. Но Кукуша была непреклонна: «Надо делиться со всеми живыми существами, даже с теми, кто не оценит. Это по-христиански».

Гирлянда перегорела на пятый день. Розовый и фиолетовый, которые так радовали глаз в серые февральские вечера, сменились зловещим мерцанием одного-единственного зелёного диодика. Он мигал с частотой эпилептического припадка — три вспышки в секунду, без остановки, круглосуточно. Дядя Гриша, у которого была «чуйка на всё электрическое», сказал, что от такой гирлянды у него «крыша поедет быстрее, чем от самогона Зинаиды».

— Она не гонит самогон, — возразила Кукуша.

— А что она делает с этими пирожками? — спросил дядя Гриша загадочно. — Добавляет туда что-то? Я после её капустных три дня летаю.

— Она добавляет любовь, — объяснила Кукуша. — Любовь бывает разной. Иногда она похожа на самогон.

Дядя Гриша долго молчал, потом сказал: «Ты, Кукушка, странная. Но с тобой не соскучишься», — и ушёл. А Кукуша, вздохнув, убрала гирлянду в сумку до лучших времён. В кармашке сумки лежала мандариновая корка — на память.

Круги продолжались. Уже без гирлянды, без мандаринов, но с тем же упорством, с которым Кукуша писала курсовую. Просто люди собирались у тополя, держались за руки и говорили хорошие слова. Сначала приходило человек пять-шесть — баба Зина, дядя Гриша, Валерий, Лена с Артёмом, Аня и Катя. Потом — три. Потом — только баба Зина, дядя Гриша и Кукуша. Валерий отмазывался тем, что у него «отчёт в ЖЭКе, квартальный, сами понимаете». Лена — что Артём «капризничает, у него зубы режутся, всю ночь не спала». Девочки — что у них «зачёт по педагогике, а преподаватель — дура, требует конспекты за полгода».

Кукуша не унывала. Она вообще была человеком, который умел не унывать даже тогда, когда обстоятельства складывались против неё. Может быть, потому что она читала слишком много Платонова, а Платонов учил, что надежда умирает последней — и даже после смерти она иногда воскресает, если её хорошенько полить мандариновым соком.

— Трое — тоже круг, — говорила она, стоя под тополем, сжимая руки бабы Зины и дяди Гриши. — По Платону, даже два человека уже образуют соборность. А три — почти Святая Троица. Только без Бога-Отца и Святого Духа. Чистый Бог-Сын. Страдающий. Как мы.

— Не кощунствуй, — ворчала баба Зина, но приходила. Всегда. Даже когда шёл снег, и снег забивался за воротник её пухового платка. Даже когда болела нога, и она хромала к тополи, опираясь на палку, которую ей вырезал дядя Гриша (он умел вырезать палки — и вообще всё, что требовало рук и терпения). Даже когда в районном чате кто-то написал, что Кукуша «сектантка и морочит людям голову». Баба Зина ответила тогда: «Если секта состоит из одного философа, одной старухи и одного пенсионера с “Запорожцем”, то это не секта, а драматический кружок». Её заблокировали на два часа, но она была горда.

Дядя Гриша приходил реже — то машина ломалась (а она ломалась каждую неделю, потому что «Запорожец» был старше Кукуши и имел собственное мнение на тему того, стоит ли заводиться по утрам), то давление скакало (он мерил давление старым тонометром, который врал на двадцать единиц, но дядя Гриша верил ему, как библии). Но если приходил, то приносил с собой что-нибудь вкусное: то пакет пряников (тульских, с ванилью), то банку варенья (смородинового, кислого — «для бодрости»), то, однажды, бутылку коньяка «для сугреву, потому что на улице минус пятнадцать, а вы, бабы, мёрзнете».

Кукуша коньяк пить не стала (она вообще не пила, кроме чая и, иногда, кефира), но баба Зина выпила рюмку, крикнула, сказала: «Хороший мужик, Гриша. Жаль, что женатый». Дядя Гриша покраснел так, что стал похож на помидор, пробормотал что-то про «старые дрожжи» и ушёл чинить зеркало — которое, кстати, уже было приклеено, но он находил всё новые и новые причины, чтобы его подкрутить.

А потом случилась новость, которая перевернула всё. Или почти всё. По крайней мере, то, что Кукуша считала «всем».

Глава 1. Горячая идея (и холодный душ)

Во вторник вечером Кукуша вернулась в общежитие после зачёта по «Философии XX века». Зачёт она сдала на «отлично» — можно было выдохнуть и позволить себе немного радости. Но для этого «отлично» пришлось три часа спорить с доцентом Курочкиным о том, можно ли считать постмодернизм концом философии.

Курочкин был маленьким ядовитым человечком с усиками, как у Чехова, и с такой же любовью к коротким, убийственным фразам. Он носил твидовые пиджаки, которые пахли нафталином и табаком, и имел привычку постукивать пальцем по столу, когда студент говорил глупость.

Кукуша считала, что постмодернизм — это не конец, а ирония над концом. «Это как сказать, что смерть — это конец жизни, но жизнь-то продолжается до самой смерти, и даже после неё — в памяти, в книгах, в мандариновых корках!» — горячилась она, размахивая руками.

Курочкин возражал. Он говорил, что постмодернизм — это «языковая игра, в которой проигрывают все», что Деррида — «шарлатан с приятным акцентом», а Бодрийяр — «пессимист, который не умел пользоваться компьютером». В конце концов, они оба устали: Кукуша — от того, что Курочкин перебивает, а Курочкин — от того, что Кукуша не перебивает, а дослушивает до конца, а потом отвечает так, что непонятно, кто из них доцент, а кто — студентка четвёртого курса с растрёпанными волосами и мандариновой коркой в кармане.

— Ветрова, заберите вашу пятёрку и идите, — сказал Курочкин, потирая виски. — У меня голова от вас болит. Вы хуже зубной боли. Потому что зубную боль можно вылечить, а вас — нельзя. Вы — экзистенциальная проблема.

— Спасибо, — сказала Кукуша. — Это лучший комплимент, который я слышала сегодня. А сегодня я слышала, как дядя Гриша назвал меня «солнышком ломанутой энергосистемы». Вы — вторые.

Она забрала зачётку и вышла. На душе было тепло и радостно, несмотря на то, что на улице было минус двенадцать, а в кармане — минус триста рублей.

В комнате её ждала Настя. Настя сидела на подоконнике — любимом месте всех обитателей общежития, откуда видно весь двор, тополь и скамейку, на которой собирались круги, — и пила чай из большой кружки с надписью «World's Best Historian». Кружку ей подарил бывший парень, который потом ушёл к другой, но Настя не выбросила кружку — «история есть история, её не выбросишь».

Настя была одета в три слоя: майка, флисовая кофта, бабушкин шерстяной свитер. В общежитии опять отключили отопление на два часа — по графику, который, казалось, составлял дядя Гриша в плохом настроении и при участии тёти Любы, которая считала, что «студенты должны закаляться, а не сидеть в тепле как парниковые растения».

Рыжая дремала у неё на коленях, свернувшись в рыжий клубок с белым пятном на боку. Кошка дышала ровно и мурлыкала что-то кошачье — возможно, жаловалась на холод.

— Кукуша, — сказала Настя, не поднимая глаз от телефона (она листала ленту в районном чате, где обсуждали, кто не убрал за собакой, кто громко слушает музыку, и почему во втором подъезде не работает лифт), — знаешь, что завтра?

— Среда, — пожала плечами Кукуша, скидывая куртку (куртка была старая, мамина, с оторванной пуговицей, которую Кукуша закалывала брошью с Чеширским котом — «это иронично, потому что я тоже часто исчезаю в своей философии») и падая на диван. Диван жалобно скрипнул — ему было лет двадцать, и он помнил ещё студентов нулевых, которые пили портвейн и спорили о Лимонове. — День, когда я должна дочитать статью про «Символизм и реальность» у Андрея Белого. Очень скучная статья. Белый, конечно, гений, но он пишет как человек, который съел слишком много борща перед сном. Или как тот доцент, который объясняет феноменологию и сам засыпает на полуслове. Я уже два дня пытаюсь её дочитать, но каждый раз засыпаю на пятой странице.

— Нет, — Настя, наконец, подняла глаза. В её взгляде было что-то загадочное. — Завтра — день рождения бабы Зины. Ей семьдесят пять лет. Я в районном чате прочитала. Валерий написал: «Поздравьте Зинаиду Петровну. Дама с характером. Достояна уважения». А дядя Гриша ответил: «Уж какой есть. Но пирожки у неё божественные». А потом кто-то из третьего подъезда спросил: «А кто такая Зинаида Петровна?» — и начался скандал. В общем, завтра.

Кукуша подпрыгнула. Подпрыгнула так резко и так высоко, что диван жалобно скрипнул второй раз за вечер, а Рыжая, спавшая на коленях у Насти, свалилась на пол, обиженно мяукнула, продемонстрировала когти (на случай, если кто-то захочет её обидеть ещё раз) и ушла под кровать — подальше от этих сумасшедших, которые не умеют сидеть спокойно и радоваться жизни.

— День рождения! Это же идеально! — Кукуша уже носилась по комнате, как ураган, собирая разбросанные вещи. В режиме «ураган» она была страшна: волосы вставали дыбом (и без того стоявшие торчком), глаза горели, а руки хватали всё подряд — книги, тетради, прошлые конспекты, клубки ниток (Настя вязала шарф и бросила на пол), пустые чашки, — не разбирая, нужно или нет. — Мы сделаем ей настоящий сюрприз! С пирогами, с шариками, с песнями! Я спою! Я спою Шостаковича! Баба Зина любит Шостаковича, она сама сказала!

Ну, она сказала: «Этот ваш Шостакович — шумный, но душевный». Это любовь! И, конечно, с мандаринами! Много мандаринов! Целую гору! Как символ солнца в феврале!

— Мандарины кончились, — напомнила Настя, спокойная, как удав, который привык, что его удаву постоянно кто-то мешает спать. — И сезон прошёл. В магазинах только импортные, по пятьсот рублей за килограмм. Это цена полутора пирожков бабы Зины. Или двух поездок на метро. Или трёх буханок хлеба. В общем, дорого.

— Купим! На последние деньги! — Кукуша уже рылась в кошельке. Кошелёк был найден в рюкзаке, под слоем конспектов по философии (Гуссерль, Хайдеггер, Сартр — все они лежали вперемешку с мандариновыми корками, которые Кукуша собирала для чая). — У меня есть тысяча. Нет, восемьсот. Потому что я купила новый сборник Бродского. Сборник стоит двести рублей, но это хорошая инвестиция. Бродский важнее мандаринов? Или мандарины важнее Бродского? Соловьёв писал, что красота спасёт мир, но он ничего не писал про фрукты. Это упущение. Надо было написать диссертацию на эту тему.

— У тебя есть ещё триста рублей мелочью, — сказала Настя, которая заглянула в кошелёк через плечо. — И... пять евро. Которые мама дала на чёрный день. Ты их уже два года хранишь. Они пылятся. Как памятник несбывшимся надеждам.

— Мама будет ругаться, — вздохнула Кукуша. — Она скажет: «Аглая, я тебе дала на хлеб, а ты тратишь на какой-то цирк». Но мама далеко, а баба Зина — близко. Баба Зина важнее евро. И важнее маминого мнения на расстоянии. Потому что близкое важнее далёкого. Это по-христиански. И по-хайдеггеровски: Dasein всегда здесь, а не там.

— Ты собираешься покупать мандарины на евро? В ближайшем ларьке? — Настя была реалисткой, и реализм её проявлялся даже в мелочах. — Тебя пошлют. Или вызовут полицию. Скажут: «Девушка, вы что, из мафии? Мы евро не принимаем, у нас доллары и рубли, и то — не всегда».

— Тогда испечём что-нибудь! — Кукуша хлопнула в ладоши. Хлопок был звонким, как выстрел. Рыжая из-под кровати фыркнула. — Я умею печь пирог! Ну, почти умею. Бабушка учила, когда мне было десять лет. Я хорошо месила тесто. Правда, потом бабушка передёлывала, потому что я насыпала слишком много муки. Но это детали! Важен процесс! Процесс важнее результата! По Бердяеву, творчество — это прорыв к свободе, а не конечный продукт.

Настя сняла очки, протёрла их краем футболки (на футболке был принт с древнегреческой амфорой — наследие истфака), надела обратно и внимательно, очень внимательно посмотрела на Кукушу. Так смотрят на человека, который только что сказал, что собирается переплыть океан на надувном матрасе.

— Ты хочешь испечь пирог для бабы Зины? — переспросила Настя медленно, чеканя каждое слово. — Для бабы Зины, которая печёт пирожки сорок лет? Для женщины, у которой вся кухня пропахла выпечкой так, что даже мыши в подполе чихают от корицы? Ты уверена, что это хорошая идея?

— Конечно! — Кукуша была непоколебима, как скала, как категорический императив, как профессор Кротов в своих убеждениях. — Это будет жест любви. Неважно, насколько вкусно. Важно, что от души. По Бердяеву, творчество — это прорыв к свободе. Я прорвусь к свободе через тесто. А баба Зина оценит. Она мудрая. Она ела в войну картофельные очистки.

Она ела хлеб из лебеды. Наш пирог покажется ей фуа-гра. Ну, или, по крайней мере, съедобным.

— Картофельные очистки и чёрный пирог — разница невелика, — пробормотала Настя, но спорить не стала. Она знала, что Кукушу не переспорить — с ней можно было спорить только о философии, и то если ты готов проиграть, потерять два часа времени и в итоге согласиться, что «истина где-то посередине, но ближе к Кукуше».

План родился молниеносно — за те три минуты, пока Кукуша бегала по комнате и натыкалась на мебель. Завтра утром она идёт в супермаркет за продуктами (мука, яйца, сахар, масло, яблоки — мандаринов всё равно нет, пусть будут яблоки, символ грехопадения и одновременно мудрости, это очень философский фрукт), потом получает разрешение от комендантши тёти Любы на использование общей кухни (это будет трудно, но возможно — тётя Люба не любит Кукушу, но уважает её упрямство), потом печёт пирог. Вечером все собираются у бабы Зины — с пирогом, чаем и поздравлениями. Идеально. Идиллия. Никто не пострадает.

— Только... — Настя замялась, поправила съехавшие очки. — Ты когда в последний раз пекла? Честно. Без вранья. Без философских увёрток. Без «постмодернистской иронии над процессом».

— В школе. На уроке труда. — Кукуша задумалась, почесала затылок (под пальцами — кудри, спутанные в колтуны, потому что она забыла расчесаться). — Я испекла коржики. Они были твёрдые, как сухари. Но их съели. Никто не отравился. Мальчишки даже попросили добавки, потому что больше ничего не было, а они были голодные после физры. Так что это успех.

— Коржики — это не пирог, — напомнила Настя. — Коржики маленькие. Их сложно съечь. Они просто становятся сухарями. А пирог — это большая конструкция. Как теория всего. Её легко обрушить.

— А я испеку большой пирог! — отрезала Кукуша. — И не сожгу. Я буду стоять у духовки и следить. Как ухаживают за больным. Внимательно, с любовью, с градусником. Только вместо градусника — вилка. Буду проверять готовность каждые пять минут. Ничего не подгорит.

— Духовка — не больной, — заметила Настя. — У неё нет пульса. И она не кашляет.

— Зато она может загореться. Это хуже, чем кашель.

Настя хотела сказать, что, если кто и может загореться, так это Кукуша со своими идеями, но промолчала. Она уже достала телефон — не звонить, а записывать. Для истории. Или для полиции. Или для будущей диссертации на тему «Антропология абсурда в московских общежитиях начала XXI века».

Кукуша села за стол — старый, советский, со следами от горячих кружек и чернилами, которые не отмывались уже десять лет, — и начала писать рецепт. Писала она на полях конспекта по Гуссерлю, потому что чистой бумаги в комнате не водилось. Рядом с «интенциональностью сознания» появилось «мука — 500 г». Чуть ниже, где Гуссерль рассуждал о феноменологической редукции, Кукуша вывела «яйца — 3 шт.». На полях, где был нарисован вопросительный знак (она не поняла одну из теорем о временных модусах), появилось «сахар — 200 г». Внизу, на месте, где конспект переходил в чистую область (редкость), — «яблоки — 4 шт.» и приписка: «мандарины — не найдены, оплакать. Возможно, яблоки — это тоже своего рода мандарины, если на них хорошо смотреть. По Витгенштейну, значение слова определяется его употреблением. Если я назову яблоки мандаринами и буду их так употреблять, они

станут мандаринами. Вопрос: баба Зина поймёт? Ответ: баба Зина поймёт всё, кроме постмодернизма».

Под рецептом она написала крупными буквами: «Пирог для бабы Зины — соборность на практике. Вкус — вторичен. Главное — единение душ через тесто».

— Готово! — сказала она, поднимая тетрадку над головой, как знамя. — Завтра мы совершим кулинарный подвиг. Или кулинарное откровение. Или кулинарный апокалипсис. Но в любом случае — это будет незабываемо.

— Или кулинарное преступление, — вздохнула Настя, заворачиваясь в плед плотнее. За окном завывал ветер — февральский, злой, как профессор Кротов после бессонной ночи. — Статья Уголовного кодекса: «Порча продуктов с отягчающими обстоятельствами в виде философского обоснования».

— В нашем деле главное — не бояться, — сказала Кукуша и выключила свет.

Рыжая из-под кровати вылезла, потянулась, прыгнула на диван и устроилась на ногах Кукуши — греться. Кошка была практичнее всех философов вместе взятых.

Глава 2. Утро перед бурей (или как Кукуша потеряла ботинок)

В среду Кукуша проснулась в шесть утра.

Это было неслыханно. Обычно она вставала в восемь — если повезёт, и в девять — если накануне засиделась за чтением Платонова (а Платонов, как известно, читается медленно, потому что каждое предложение хочется перечитывать дважды, а иногда — плакать над ним). Но сегодня был особый день. День рождения бабы Зины. День великого пирога. День, когда она докажет всем (и себе в первую очередь), что она не только философ, но и человек действия.

В комнате было темно и холодно — батареи включили только в семь (по графику дяди Гриши и тёти Любы), а в шесть было как в склепе. Кукуша лежала под двумя пледами и старым бабушкиным одеялом (шерстяным, колючим, но тёплым) и слушала, как тикает будильник. Будильник был механическим, ещё советским, с двумя звонками сверху, и он звенел так громко, что его было слышно, наверное, в соседней комнате. Настя привыкла и спала дальше — она могла спать при любом шуме, кроме тишины. Тишина её пугала.

Кукуша нащупала ногами тапки. Тапки были вязаные, бабушкины — такие же, как носки, но с резиновой подошвой, чтобы не скользить. Один тапок нашёлся сразу — прямо у кровати, на коврике, который Настя притащила из дома и который все называли «помойным», потому что он был старым и выцветшим, но тёплым. Второй тапок куда-то делся.

— Рыжая, — прошептала Кукуша в темноту. — Ты опять утащила мой тапок?

Кошка не ответила. Она спала на стуле, свернувшись калачиком, и даже не пошевелилась. Рыжая была кошкой с характером: днём она требовала внимания, еды и ласки, а ночью — спала, и её нельзя было разбудить даже мандарином (а мандаринов, как известно, не было).

Кукуша встала с кровати, босая нога (левая) — на холодном полу, правая — в тапке. Пол был ледяным, как философская категория «абсолютный ноль». Она прошлёпала до выключателя, зажгла свет. Лампа под потолком замигала, зажужжала, но загорелась — тускло, желтовато, как воспоминание о счастье.

Тапок нашёлся под кроватью, заваленный конспектами по феноменологии. Рядом лежала мандариновая корка — прошлогодняя, сухая, но всё ещё пахнущая. Кукуша надела тапок на левую ногу (носки она потеряла ещё вчера — они, как и мандарины, кончились, и теперь лежали где-то в недрах комнаты, ожидая, когда их найдут и посадят в стирку) и почувствовала, что готова к подвигу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.